

Надежда Перкова

Синий дым китаек



12+

Надежда Перкова
Синий дым китаек

«Автор»

2019

Перкова Н.

Синий дым китаек / Н. Перкова — «Автор», 2019

Мой отец пришёл с войны невредимым тридцатисемилетним холостым человеком, весьма недурной наружности. Через четыре года он произвёл на свет меня, а ещё через полтора – мою сестру Ольгу, причём день её появления на земле абсолютно совпал с днём его рождения – пятнадцатым мая. Возможно, приняв это чрезвычайно редкое совпадение за указующий перст судьбы, отец решил узаконить отношения с нашей матерью и дать детям свою фамилию.

© Перкова Н., 2019

© Автор, 2019

СИНИЙ ДЫМ КИТАЕК

Часть первая

Проспект металлургов

О детство! Кови душевной глуби!

Борис Пастернак

Мой отец пришёл с войны невредим тридцатисемилетним, холостым человеком, весьма недурной наружности. Через четыре года он произвёл на свет меня, а ещё через полтора – мою сестру Ольгу, причём день её появления на земле абсолютно совпал с днём его рождения – пятнадцатым мая. Возможно, приняв это чрезвычайно редкое совпадение за указующий перст судьбы, отец решил узаконить отношения с нашей матерью и дать детям свою фамилию.

Благодаря такому стечению обстоятельств моё детство оказалось счастливым: полный комплект родителей в стране, по которой недавно губительным смерчем пронеслась война, – таким счастьем мог похвастаться далеко не каждый из моих сверстников: у многих в метрической графе «отец» стоял прочерк. Таким образом, имея сестру-погодка, одну бабушку (папину маму), много родственников как по отцовской, так и по материнской линии, добрых соседей по квартире, по подъезду, по дому, я получила столько необходимой жизненной энергии от звезды, по имени Детство, что сумела полюбить жизнь и смогу, как мне кажется, вытерпеть её до конца. Кроме неиссякаемой теплоты, лучи этой звезды обладают свойством высвечивать в моей памяти такие картины, где всё не как в первый, а на самом деле – в первый раз...

Самое раннее воспоминание детства: солнечный летний день, мы с бабушкой – она в белой, батистовой, присборенной на груди блузе навывпуск – подходим к пологому берегу деревенской речки, в этом месте она совсем мелкая: здесь брод. Прозрачная вода играет солнечными бликами, видно все камешки на дне, гладкие, разноцветные. Я ничтоже сумняшеся шлёпаю в реку прямо в сандаликах.

«Куда?!» – бабушка едва успевает выхватить меня из воды.

Реву в голос: мне нужны эти камешки!

«Вынь да положи», – говорила о моей настырности мать и пыталась пристыдить песенкой:

-- Девочка Надя, чего тебе надо?

-- Ничего не надо, кроме шоколада.

-- Шоколад недорог – стоит рубль сорок.

Шоколада нету – на тебе конфету!

Я дулась, тем более, что и конфеты-то никакой не было...

Музей Дома техники

Я появилась на свет на юге Западной Сибири, в городе шахтёров и металлургов Новокузнецке, он же Сталинск, он же Кузнецк, он же Кузнецкий острог...

Когда-то стояла в Кузнецке церковь Богородицы Одигитрии, в которой венчался Фёдор Достоевский с Марией Исаевой, – церковь снесло революционной волной, и с тех пор почти все памятные места нашего города связаны в основном с историей индустриализации страны, с её тяжёлой промышленностью.

Правда, есть в городе достопримечательность республиканского значения – Кузнецкая крепость, построенная в самом начале девятнадцатого века по приказу императора Павла, дабы отражать нашествия китайцев (надо отдать должное царской предусмотрительности), но никакой воинской славы крепость не стяжала: с её стен не было произведено ни одного боевого выстрела...

В 90-х крепость реконструировали – получился неплохой новодел. Новокузнецчане выбрали крепость символом своего города, а газета «Кузнецкий рабочий» – своей эмблемой.

Но во мне никакого «отрадного мечтанья» эти кирпичные крепостные стены не шевелят: у меня в этом городе свои символы и свои эмблемы...

Наша семья из пяти человек: отец, мама, я, сестра и бабушка – проживала на проспекте Металлургов в коммунальной трёхкомнатной квартире, где мы занимали две смежных комнаты, а в комнате рядом с кухней жила Дуся.

Отец работал художником в музее Дома техники, а мама занималась домашним хозяйством и нами...

Музей Дома техники, расположенный на третьем этаже Дворца металлургов, – волшебная страна нашего детства. В нём воссоздана в макетах история КМК (Кузнецкого металлургического комбината).

Мы с сестрой любили разглядывать макеты, сделанные руками нашего отца, в которых отражён быт строителей завода-гиганта. В витринах, подсвеченных изнутри, стояли маленькие деревянные избушки с занавесочками на окнах, колодец с крошечным ведёрком на цепи, висело бельё на протянутой между двух деревьев верёвке. Фигурки женщин, детей – всё было миниатюрным, но таким натуральным, что казалось, по чьей-то злой воле одно из мгновений жизни этих людей было остановлено – они сами, предметы, окружавшие их, были уменьшены в десятки раз и помещены в витрину.

Однажды я сделала потрясающее открытие: если смотреть туда долго-долго, то наступал момент, когда всё оживало: ветер начинал раскачивать сохнувшее бельё, дети возобновляли прерванную игру, а женщины энергично принимались за оставленную работу....

Мать часто приводила нас туда: до замужества она работала в музее наблюдательницей, там же и познакомилась с отцом.

Обычно мы приходили в музей в такое время, когда посетителей не было вовсе, – и только для нас с сестрой включали свет в витринах, заставляли двигаться действующие модели. Немудрено, что слова «блуминг», «домна», «мартен» мы узнали раньше, чем, например, «бисквит», «метро», «такси»...

Центральное место в музее занимала действующая модель, представляющая весь процесс доменного производства, начиная с выработки кокса.

Кокс производят из высококачественного коксующегося угля в коксовых батареях путём сухого обжига.

Никакой фейерверк не сравнится по грандиозности зрелища с моментом, когда удаляются двери коксовой батареи – и огненная лава устремляется в стоящий на рельсах специальный вагон-резервуар. Особенно впечатляет миг, когда разом из каждой печи выталкивается цельный блок раскалённого кокса, какое-то время ещё сохраняя при падении форму прямоугольной призмы, медленно наклоняясь, теряя светящиеся куски и брызгая каскадом искр, он, наконец, рассыпается, превращаясь в широкий огненный ручей, сливающийся с другими ручьями в кипящее огненное озеро в обширной ёмкости вагона...

Невообразимый грохот, дышащий пламенем ад, крошечная чернота всего, что не огонь, – жуткая картина!.. Не в музее, конечно, а наяву, в реальности, в непрерывном рабочем цикле коксового цеха ...

Доменная печь тоже работает непрерывно. К её жерлу протянуты рельсы, по которым одна за другой спешат вверх вагонетки с шихтой: коксом, рудой и спецдобавками... От этих бегущих по рельсам вагонеток мы с сестрой были в неописуемом восторге!..

В этом же зале находилась грандиозная панорама (отец ею особенно гордился), называлась она «Прибытие первого поезда на площадку Кузнецкстроя. 1929 год». В стенной, ярко освещённой нише, обрамлённой тёмно-красным бархатом, открывалась объёмная картина: рельсы, шпалы, брёвна, тачки, лопаты, плакаты, строители в ватниках и... Поезд! Празднично украшенный, он был нарисован на задней стене панорамы – насыпь, рельсы и все предметы, включая людей, стоящих лицом к поезду, спиной к зрителям макетированы... Поезд доставил стройматериалы непосредственно на стройплощадку, а не на железнодорожную станцию – отпала необходимость везти их оттуда гужевым (в основном) транспортом...

Об этих людях, работавших и живших в нечеловеческих условиях, со слов одного из кузнецкстроевцев, по фамилии Хренов, Маяковский написал известные всем стихи:

По небу тучки бегают,

дождями сумрак сжат;

под старую телегою

рабочие лежат.

И слышит шёпот гордый

вода и под и над:

«Через четыре года

здесь будет город-сад»

В каких условиях на самом деле жили кузнецкстроевцы стало известно лишь недавно – они оказались намного хуже, чем лагерные. Если заключённые в лагерях жили в бараках, то строители Кузнецкого металлургического комбината жили в землянках, вырытых в котловане, предназначенном под фундамент завода. Поверх вырытой ямы клали деревянный настил – он служил потолком, а пол и стены оставались земляными...

Передам, как запомнила, рассказ Ивана Ивановича Рогинцева, сына одного из строителей комбината, которому в восьмилетнем возрасте довелось жить с родителями в такой землянке:

«В нашей семье было восемь человек детей...

Когда приехали на Кузнецкстрой, увидели, что никаких бараков для рабочих нет – все живут в землянках, встроенных в котлован, вырытый под фундамент завода. Купили готовую землянку.

Когда туда вошли – мама дорогая! – на нас кинулись тучи блох, по земляным стенам ползали большие серые мокрицы. Бррр!..

С шести утра до глубокой ночи по крыше стучали шаги: кто-то шёл на работу, кто-то возвращался с неё...

Весной и осенью грязь стояла непролазная...

За хлебом выстраивались огромные очереди. Хлеб был коммерческим, но даже и такого хлеба на всю очередь хватало не всегда, и приходилось рабочему идти голодным на смену, а в землянках ждали хлеба голодные ребяташки...

Остатки волос на голове шевелятся, когда вспоминаешь, что нам тогда пришлось пережить!!»

-- Не пережить, а преодолеть, Иван Иваныч! – перебил рассказ очевидца телеведущий (бывший политработник) и на слове «преодолеть» решительно проткнул пальцем воздух. Девяносточетырёхлетний ветеран войны и труда, опасливо покосившись на него, вынужден был согласиться: «Да, да, пережить и... преодолеть».

Смертность?

Кто их считал!

У нас испокон веку так, будь то строительство нового города, завода или железной дороги:

«А по бокам-то всё косточки русские... Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?»

Отец

Отец часто брал работу на дом. Запах разогретого в консервной банке столярного клея (по силе вонючести он уступал только денатурату и карбиду) из кухни растекался по всей квартире...

Отец вырезал лобзиком из фанеры детали, обмакивая в клей плоскую щепку, смазывал их, прижимал друг к другу и клал на просушку возле батареи...

Я любила наблюдать за всем, что он делал, мне нравились его уверенные, точные движения.

Брился он только опасной бритвой и не в ванной, а в комнате.

Вначале он правил бритву – для этого к спинке его койки был привязан старый кожаный ремень. Он тянул ремень на себя и несколько раз проводил по нему лезвием, меняя стороны; потом взбивал тугую мыльную пену, наносил её на лицо и сразу становился похожим на Айболита из книжки Корнея Чуковского. Во время бритья он смешно гримасничал, стараясь как-нибудь сильнее выпятить труднодоступный участок кожи. Всё, что снималось с лица вместе с пеной и оставалось на лезвии, он аккуратно намазывал на кусок газеты. К концу бритья газета покрывалась белыми мыльными холмиками с застрявшими в них чёрными чёрточками волос.

Больше всего я любила смотреть, как отец заряжал патроны, – зрелище настолько увлекало, что у меня непроизвольно открывался рот. «Полоротая!» – бросала мать на ходу одно из моих насмешливых прозвищ, на которые она никогда не скупилась...

У отца было два охотничьих ружья: одностволка и двустволка. Двустволка – обычное стандартное ружьё, а вот одностволка... сизо-перламутровый приклад и фигурного литья замок превращали её в произведение искусства.

Откуда у него взялось это ружьё? Скорей всего, кто-то привёз в качестве трофея из Германии, а отец не устоял перед такой красотой и купил в общем-то ненужную вещь: на охоту он почти всегда брал двустволку... Отец гордился и дорожил своей одностволкой, но всё же её пришлось продать – деньги... их вечно не хватало!

Снаряжение патронов – целая церемония. Обычно вечером при электрическом освещении в большой комнате отец застилал стол бумагой и выставлял на неё вощённые бумажные

гильзы, высыпал блестящие капсулы, чёрный порох, коробочки с дробью разного калибра, металлическую мерку, пыжи, войлочные и бумажные; маленький шомпол, чтобы хорошенько всё утрамбовывать...

Из всего этого великолепия мне особенно нравились капсулы, жёлтые и медно-красные, они лежали горкой и сияли под лампой, как золото, – от них невозможно было оторвать глаз!.. Мне разрешалось подавать пыжи – счастье!..

С охоты отец никогда не приходил с пустыми руками – рябчики, бекасы, утки, селезни были его добычей. Селезень, выглядевший намного крупнее и красивее своих убитых подруг, с изумрудно-атласной головкой, с белым ремешком вокруг шейки и жёлтым клювом, лежал вместе с другой битой птицей в большой комнате, на полу у стены, – от дичи пахло порохом и кровью... Мы с сестрой таращились на мёртвых птиц, замирая от ужаса и восторга...

Однажды отец подстрелил горностаю, белого с чёрной кисточкой на хвосте. Шкурку снял чулком: хотел сделать чучело (он и это умел!), да руки не дошли. Долго валялась по углам эта шкурка в ожидании нового воплощения, но так и не дождалась.

Горностаю стал напрасной жертвой – эта мысль долго сверлила мой нежный мозг.

Весной, в короткий период токованья, отец ходил на глухарей. Самец-глухарь уязвим во время токования: когда поёт свою брачную песню, он ничего не слышит, за что и прозван глухарём (в остальное время глухарь необычайно чуток).

Случился в моей жизни один единственный день, когда отец взял меня с собой на охоту. Это было под Оренбургом, в глухом немецком поселении, где в туберкулёзном диспансере работала главврачом его старшая сестра Ольга.

Вообще-то Оренбург – это сплошная ковыльная степь, изредка в ней встречаются песчаные напластования наподобие невысоких, довольно живописных скал, но нас отвезли в такое место, где степь перемежалась с лиственными рошицами...

Мы зашли в рошу, где я впервые увидела дубы (в Сибири дуб не растёт), там оказалось полно вяхирей – лесных голубей. Отец то и дело вскидывал ружьё: голуби были непуганые – и становились лёгкой добычей...

На опушке роши отец подстрелил зайца-русака. Никогда не забуду его предсмертного вопля. Всю дорогу я несла его перед собой на вытянутых руках...

Когда тётя Соня (средняя отцова сестра) подала приготовленную дичь к столу, я не притронулась ни к единому кусочку: ни к птице, ни к зайцу...

* * *

Слово «халтура» было желанным в нашем доме, оно означало благую весть для женской составляющей семьи: новые игрушки, новые ботинки и даже новые пальтишки. После одной

удачной халтуры нам купили оранжево-красные плюшевые шубки, мы с Лёлькой гуляли в них по двору, как две заморские птицы.

Отец строго следил, чтобы зимой мы были укутаны как следует – укутанными «как следует» мы ходили до апреля, пока ребята во дворе не начинали кричать нам вслед: «Зима-лето-попугай! Наше лето не пугай!»

С работы папа никогда не приходил с пустыми руками. Он не приносил колбасу или там селёдку – нет, он приносил из буфета какие-нибудь лакомства, которых не купишь в магазине: пару начинающих чернеть бананов, кулёк слипшихся фиников, душистые тёмно-жёлтые полоски вяленой дыни, а то и баночку консервированных ананасов – незабываемые вкусы и запахи, совсем другие, чем сейчас, более сильные, острые!

В праздники он обязательно делал нам подарки: коробочки в виде книжки с петухом на обложке, наполненные жареным арахисом, шоколадные медали, матрёшки, цветные карандаши, соломенные шляпки и даже сумочки.

Вспоминаю: он держит перед нами две чудесных сумочки с металлическими защёлками – тёмно-синюю «лакированную» и зелёную без лака – я выбрала зелёную (до сих пор жалею). Позже к этим сумочкам он купил нам по ситцевому зонтику от солнца с белыми ромашками по синему и зелёному полю.

Отец всегда покупал вещи, которые казались излишеством при постоянной нехватке необходимого. Я не представляю, чтобы он в качестве подарка преподнёс нам майки или носки – нет! А вот не угодно ли узбекские тюбетейки дивной расцветки с преобладанием голубого? Нас бы засмеяли, выйди мы во двор в этих тюбетейках, зато дома мы обыгрывали их, как могли: наплетали множество верёвочных косичек и превращались в узбечек, да в кого мы в них только не превращались!

Однажды он принёс поистине «дар бесценный» – кусок бордового бархата, оставшийся от обивки панорамы «Прибытие поезда». Я сделала из него модный широкий пояс к платью с юбкой-колокол.

А вот ситцевые зонтики от солнца нам казались уж совсем ненужной вещью.

Прятаться от скупого сибирского солнца?

Нам его и без того всегда не хватало.

Мы пытались укрыться под ними от дождя – дохлый номер: они не могли отразить ни одной капли...

И тюбетейки, и зонтики, и бархат – это было уже потом... после развода и размена...

* * *

Один единственный раз мне удалось использовать зонтик по назначению.

После выпуска из начальной школы (мы уже не жили вместе), мне вручили табель с золотой каймой, что означало «отличница» (у хорошистов кайма была красной), и отец повёз нас с Лёлькой на теплоходе вверх по Томи в Осиновый плёс.

Сидя на верхней палубе под зелёным ромашковым зонтиком с зелёной сумочкой на коленях, с фальшивыми часиками на руке, я читала книжку «Гамлет» в красивой голубой обложке, надеясь, что кто-нибудь подойдёт и спросит, что за книжку читает столь юная особа. Но никто не подошёл – надо было взять «Федорино горе»!

Глядя на себя как бы со стороны, я восхищалась: «Ну разве она не прелесть, эта барышня!» Барышнями называла нас бабушка, да и мать иногда, но, конечно, в насмешку.

В Осиновом плёсе мы сняли угол у одной хорошей, чистоплотной старушки (чистоплотность – большая редкость в наших деревнях) и вплотную занялись рыбалкой.

Отец будил меня на рассвете. Мы быстро, чтобы не опоздать на утренний клёв, собирались. Он закладывал в котелок пару ломтей хлеба, несколько сырых картофелин, горсть риса, луковицу, лаврушку – словом, всё, что необходимо для ухи. Прихватив бамбуковые удилица, не завтракая, мы выходили из дома и направлялись по белому от росы лугу к реке, оставляя после себя две тёмные дорожки...

Червяка на мой крючок насаживал, конечно, отец, забрасывала я так, что половина лески сразу же наматывалась на ветку ближайшей ивы, но все неудачи и казусы моей неопытности с лихвой искупались хорошим клёвом.

Мне, как новичку, везло – парочка самых крупных окуней-горбачей попались именно на мою удочку. И не так уж важно, что их тоже пришлось снимать с ветки. Отец терпеливо разматывал леску и не ворчал. У него не было привычки показывать «делай так, не делай этак» – он не умел или не хотел учить, видимо, считал: захочет – сама научится...

Через пару часов, натаскав десятка два разнокалиберных окуней и карасиков, мы разводили костёр и варили уху. Пяток окуньков и ерша, если, конечно, он попался на крючок (сопливый ёрш округляет вкус ущицы), отец чистил для ухи, остальную добычу нанизывал на гибкий прутик, чтобы отнести домой на обед...

Солнце уже посылало свои живительные лучи на землю, от реки поднимался белый пар, дым от костра уходил в небо. Висевший над огнём котелок уютно булькал, над ним колдовал отец, посылая в варево то крупно нарезанный лук, то горошины перца, то листик лавра...

Я сидела на низко срезанном пеньке и жадно впитывала глазами, ноздрями, ушами картину рассвета над Томью. Тихие всплески медленно текущей реки, её запах, запахи костра, рыбы, специй – всё было ново и остро волновало. Обоняние в моей жизни играет толчковую роль в воспроизведении кадров старой киноленты: стоит мне уловить знакомый запах, как тотчас начинают выплывать из памяти далёкие образы и сами собой разворачиваются в, казалось бы, давно забытые картины...

* * *

Я была папиной дочкой, а Лёлька (Ольга) – маминой. Мать называла её Лельча (с ударением на последнем слоге), а меня – большуха, хотя мы были погодками. Её она без конца жулькала, а меня – иногда, по ошибке: одевали нас одинаково.

Для папы я была Надюшка, и его любовь к нам выражалась по-другому.

Во-первых, он страшно заботился о нашем здоровье: всё время подставлял ладонь к окнам, проверяя, не дует ли; строго следил за тем, чтобы в доме никогда не переводился рыбий жир, и каждое утро (вспоминаю об этом содроганием) мы с сестрой должны были хлебнуть по столовой ложке этой гадости и запить (слава богу!) капустным рассолом...

Сколько мы с Лёлькой ни приносили домой кошек и котят, отец тайком от нас выбрасывал их. Мы плакали, горевали, но в этом случае разжалобить его было невозможно – глисты!

От простуды главным средством у нас считалась редька. Из неё вырезалась сердцевина, её место засыпали сахарным песком, редька обильно выделяла сок – этот сок (столовая ложка перед едой) и компресс из тёртой редьки на спину лучше всего изгоняли кашель и простуду.

У отца были свои гастрономические причуды: помидоры он ел только с сахаром, любил также обвалить в сахаре кусочек масла, положить в рот и, блаженно сощурившись, как кот, ждать, когда он там растает. Нас он тоже пытался приобщить к такому «гурманству» – помидоры в сахаре мы ели, но глотать масло отказывались...

Наш отец был фронтовик (Волховский фронт – самый гиблый из фронтов), сам нахлебавшись под завязку лиха, холода и голода, он хотел уберечь нас от всех напастей...

* * *

Иногда отец брал меня с собой в мастерскую, в ту, что находилась в подвале Дворца металлургов. В подвальной мастерской было полно белых и желтоватых упругих древесных стружек, пахло древесиной и пылью.

Мы с сестрой обыгрывали всё, что только попадалось под руку, – и стружки годились для этого как нельзя лучше. На втором месте после стружек был соскобленный со стен набел: мать раз в год белила комнаты, и перед тем, как начать побелку, она соскребала вздутия со стен и потолков.

Эти пластины сухой извёстки, древесные стружки, хвоя, осыпавшаяся с новогодней ёлки, – всё служило нам товаром для игры в магазин:

-- Вам полкило пастилы? Вот, пожалуйста... (извёстка)

-- Килограмм сахарного песку? Берите больше! Сахар отличный! С вас три рубля... (хвоя)

-- Макароны? Есть, конечно, есть! Рожки, ракушки – закрученные стружки...

Широкими, размеренными движениями отец строгал доску – из под его рубанка выходили всё новые и новые спирали и кольца. Они падали с верстака – я собирала и тащила их в свою сокровищницу...

Здесь, в этой мастерской, отец делал мебель на заказ: шифоньеры и трюмо. Изготовление такой мебели в одиночку – процесс трудоёмкий и длительный, поэтому он редко прибегал к такому способу решения финансовых проблем. Чаще всего он копировал «Неизвестную» Крамского и отдавал кому-нибудь продать картину на рынке.

Повзрослев, я поняла, что на этом портрете был запечатлён его идеал женской красоты: все избранницы, о которых я слышала, а кое-кого и лицезрела, начиная с матери, были брюнетками, но ближе всех к его идеалу приблизилась ... ну да, кто же ещё?.. конечно, я!!

Больших денег эти копии принести не могли...

У отца была возможность иметь постоянную прибыль. В пятидесятые годы огромным спросом пользовались нарисованные на загрунтованной дерюге настенные ковры с расхожим сюжетом: озеро, пара лебедей, мечтательная барышня на берегу. Сейчас подобная живопись называется лубком, а тогда звалась ширпотребом. Уважающий себя художник не мог оскорбить свою кисть таким убогим малеваньем: подобные «ковры» не попадали под категорию искусства – отец не хотел ронять себя в собственных глазах и в глазах товарищей по цеху.

Он жил мечтой купить мотоцикл с коляской.

Не «Победу», не «Москвич» – всего лишь мотоцикл!

Дюралевая лодка с подвесным мотором – вот всё, на что ему удалось скопить денег. Жмотом он никогда не был, да и выпить, как говорится, был не дурак, поэтому деньги в его в карманах долго не задерживались...

Дворец металлургов

Дворец металлургов... с ним связано многое: недаром в нынешних снах я часто вижу его как лабиринт, из которого не могу выбраться.

Это действительно был дворец, но только внутри, а снаружи – обычное трехэтажное тёмно-серое здание. По обеим сторонам от входа – Ленин и Сталин, покрашенные серебряной краской, потом Сталина сдёрнули – остался пустой постамент и Ленин в гордом одиночестве...

На первом этаже располагались библиотека и читальный зал. Библиотека – лучшая в городе, а читальный зал вообще уникальный. Огромный, с высоким потолком, полукруглый, с безупречно натёртым дубовым паркетом. По центру друг за другом шли круглые, покрытые скатертями синего бархата столы; у стен стояли невысокие, тёмной лакировки книжные

шкафы, между шкафами узкие кожаные диванчики – интерьер respectable библиотеки пушкинских времён...

Помню, в девятом классе нам задали сочинение по «Вишнёвому саду». Эта чеховская пьеса казалась мне слишком сложной – ни учительница, ни учебник не могли ничего объяснить – и я отправилась набираться ума в читальный зал.

Библиотекарь дала мне сборник статей критика Ермилова. Открыла и читаю примерно следующее: «Раневская и Гаев – паразиты, отпавшие от жизни. Они стонут и жалуются, потому что не в состоянии вновь присосаться к ней. Жалкие, безродные космополиты...»

Споткнувшись о слово «космополиты», я отвернулась... из контекста вытекало, что космополиты – никчёмные, бесполезные для родины люди... Мне вдруг сделалось почему-то ужасно тоскливо. Тупо уставившись глазами в пространство, я впала в какое-то оцепенение...

Неожиданно у моего стола возникла библиотекарь и положила передо мной книжку: «Вот, почитай»...

Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Вспоминаю с благодарностью эту чуткую женщину. Как ей удалось понять моё состояние?

С первых же страниц провалившись в книгу, я не подняла глаз, пока не перевернула последнюю. Эта книга надолго сделалась для меня Евангелием от Экзюпери.

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Покинув читальный зал, я спустилась по широким ступеням лестницы Дворца металлургов – мягкий зимний вечер, наконец-то дождавшись меня, подошёл, молча обнял за плечи и повёл под висячую сеть снегопада. Переполненная впечатлениями от прочитанного, я пыталась передать ему, что сотворил с моей душой французский лётчик, – на одно мгновение он сильнее сжал мои плечи: понял...

Горели фонари, в шатрах их света кружились крупные филигранные снежинки, они покрывали моё старое пальтишко, превращая его в сказочный наряд, я чувствовала: ещё мгновение – и я приобщусь к их полёту.

Подняв голову, я ждала какого-то знака оттуда, из чернильно-непроливаемого неба, уверовав вдруг, что где-то там, в фиолетовом пространстве Вселенной, среди звёзд и созвездий летит маленькая планета, болид Б-612, на которой живёт мальчик с благородным и преданным сердцем. Маленький принц...

А с Ермиловым мне довелось встретиться много лет спустя в Комарово, на местном кладбище. Мы искали могилу Анны Ахматовой, но прежде наткнулись на надгробье Ермилова – чёрная гранитная плита, на ней в художественном беспорядке высится стопка томов из красного мрамора.

— Так вот где вы нашли свой последний приют, товарищ Ермилов! — воскликнула я, обрадовавшись неожиданной встрече, и тут же наябедничала Юрке и Мише, как этот литературный критик мучил меня в девятом классе...

* * *

На втором этаже Дворца металлургов был актальный зал, небольшой, с низкой сценой. На высоких окнах — воздушные, как облака, шторы-маркизы. Здесь проходили концерты, утренники, ёлки и даже показы мод. В последнем случае кресла сдвигались к стенам — и в центре возникал подиум.

Народу на такие показы набивалось — не протолкнуться. Я пару раз побывала на них, но ничего особенного увидеть не довелось: неинтересные фасоны, простые ткани. Надень такую вещь — и благополучно сольёшься с толпой. Из увиденного запомнился только закрытый купальник из красного атласа. Уже само по себе явление на подиуме полуобнажённой манекенщицы было экстраординарным событием, но запомнилось ещё и потому, что купальники приходилось шить самой — хороших выкроек не было, да и вообще никаких не было — а здесь, пожалуйста, оригинальный фасон!...

В балетный класс с зеркалами во всю стену, с балетными станками, с шершавым, не натёртым мастикой паркетом, чтобы танцорам не было скользко, — вот в какой волшебный мир мы с сестрой могли легко и свободно попасть благодаря ключу, который был у мамы, потому что теперь она работала дежурной во Дворце металлургов.

Когда мать дежурила во вторую смену и возвращалась в двенадцать ночи, я ждала её, стоя на подоконнике, высунув голову в открытую форточку и переминаясь с ноги на ногу от холода, пока в конце дома не показывалась знакомая фигура в чёрном пальто с узкой талией. По городу ходили слухи, что женщин в чёрных пальто проиграли в карты и должны зарезать десять первых попавшихся...

После развода родителей мир стал страшным и непредсказуемым — такие «розы нам готовил Гименей», но я не держу на него зла: ведь жизнь повернулась к нам новыми, неожиданно интересными гранями.

В вокальной студии на полукруглом невысоком подиуме стоял концертный рояль, у стен — кресла. Можно было побарабанить по клавишам рояля, а потом побегать по огромному, как луг, светло-зелёному, с выпуклым цветочным орнаментом ковру. Ковёр пружинил под ногами, ходить по нему в одних носочках было неизъяснимо приятно...

Была ещё одна заветная комната на втором этаже Дворца металлургов — костюмерная. Если нам на новогодний карнавал нужен был костюм, костюмерша тётя Зина всегда выручала нас, подбирая что-нибудь подходящее из своего обширного гардероба, например, костюм лисы с натуральным рыжим хвостом.

Она же, когда пришло время, сшила мне платье для выпускного бала, не бесплатно, конечно, — аж за пятнадцать рублей (в ателье брали десятку, но шили безобразно). Хотя я и

сама могла себе что-нибудь сварганить, но побоялась испортить дорогую ткань, которую по такому случаю прислал из Харькова дядя Афоня, мамин старший брат. Это был полупрозрачный шифон с набивными матовыми цветами. Платье сшили на голубом чехле с двумя косыми воланами по подолу, сильно приталенное. Причёску и маникюр мне сделали в парикмахерской – взглянув на себя в зеркало, я увидела в нём королеву Шантеклера (так иногда называл меня отец)...

А для Лёльки на следующий год дядя Афоня отреза на выпускное платье не прислал, потому что я, закрутившись в заботах, не написала ему благодарственного письма. Он, естественно, обиделся, а я до сих пор корю себя: поступила как свинья...

Лёлька сама сшила себе довольно миленькое платьишко из жёлтого крепа: прямое мини, кокетку расшила белыми жемчужинками...

Дядя

Дядя Афоня, Афанасий, старший брат мамы, после войны он осел в Харькове. Подполковник. Квартира, дача, машина...

В Новокузнецк они с тётёй Любой хоть и нечасто, но приезжали.

Во время первого своего визита дядя Афоня оскорбил моего отца (я этого не слышала: была ещё слишком мала). Со слов матери, дело было так: дядю Афоню с тётёй Любой готовились везти на вокзал, отец перед выходом из дома, осматривая поклажу, попросил:

— Ну, давайте-ка мне чемоданчик потяжелее.

И вдруг дядя ни с того ни с сего процедил сквозь зубы:

— Тебе бы ломик потяжелее...

Мой отец (лицом и фигурой он напоминал артиста Леонида Куравлёва) ничего не ответил дяде Афоне, но обиду затаил...

Наверно, нам не понять людей, прошедших через войну. Отец не получил на фронте офицерского звания, и, может, дядя таким странным образом решил подчеркнуть разницу между собой и им, а, может быть, он интуитивно почувствовал беспокойство за судьбу своей сестры – этого я знать не могу, но знаю точно, что отец таил обиду на маминого брата долгие годы.

Да, дядя Афоня был подполковником и ему полагалось ездить в мягком спальном вагоне. На полу в купе лежал хоть и потёртый, но персидский узорный коврик – я в таком вагоне даже и жить бы согласилась...

Мать рассказывала, что, вернувшись с войны, старший брат предлагал ей поехать с ним в Харьков.

— Будешь учиться день и ночь, чтобы наверстать упущенное, — говорил ей дядя Афоня.

— День и ночь учиться? Нет не поеду!

Памятуя о своих недоспанных военных ночах, мать отказалась. Зря, конечно. Возможно, её судьба сложилась бы более счастливо... Но тогда не было бы нас с Лелькой...

Ребёнка дяде с тётёй Любой Бог не дал. Правда, когда тётя Люба умерла, оказалось, что у дяди Афони всё-таки есть сын...

Я не могу поручиться за то, что и у нашего отца не было других детей, кроме нас. Женился он в сорок лет, о его добрачной жизни мы почти ничего не знаем, кроме того, что география его обитания была весьма обширна. Помню, он говорил, что до войны работал в винницком цирке: делал рекламу, рисовал афиши, а по вечерам выходил на манеж ковёрным. Он рассказывал нам о болезнях цирковых лошадей, которые могут оказаться смертельными для человека: одна его знакомая наездница умерла от сапа, заразившись от своей лошади...

Отец не любил рассказывать свою биографию, бабушка тоже: жизнь научила их быть скрытными и осторожными даже с близкими людьми...

* * *

Кое-что мне перепало от отца: любовь к природе, эстетская жилка; а кое-что от матери: портновские способности и страсть к чтению...

Мамин отец был портным, её брат, дядя Паша, шил на заказ отличные мужские костюмы и даже пальто, мама обшивала нас с головы до ног до тех пор, пока мы сами не научились шить класса, примерно, с шестого...

Дядя Паша — средний брат мамы... Был ещё младший — красавец, добряк и всеобщий любимец Петя — пропал без вести под Курской Дугой, последнее письмо пришло из-под Прохоровки...

Павел вернулся с войны майором и привёз с собой из Ленинграда жену, финку по национальности. Чем она его пленила — трудно сказать: красоты в ней не было никакой, но зато весёлости в избытке — смеялось по любому поводу...

Правду сказать, в русском человеке много угрюмства, в нашей родне есть такие, которые вообще не способны радоваться, — вот дядя Паша и женился на весёлой Алле Семёновне (так звали его новую финскую жену). Худошавая, с грубыми чертами почти мужского лица, увенчанного короной из двух тощих косиц, она всё-таки располагала к себе открытым, приветливым выражением физиономии, к тому же она дорого и со вкусом одевалась: помню её бостонный, прямой, под пояс сарафан и крепдешиновую блузку нежно-розового цвета...

С лица воду не пить, а лёгкий нрав — редкий подарок для семейной жизни. Правильно говорить по-русски Алла Семёновна так никогда и не научилась — употребление местоимений

всегда было для неё камнем преткновения, но речевые погрешности жены не мешали супругам хорошо понимать друг друга, они жили душа в душу.

Хозяйкой она оказалась отличной: аккуратистка, искусный кулинар – в их доме всегда был порядок и вкусно пахло. По утрам они пили чёрный кофе, хоть и с добавлением цикория, но всё же кофе. А в нашем доме пили фруктовый чай из брикета, тоже чёрный...

Я запомнила вкус малиновой наливки, которой она нас угощала, когда Вовка, их общий с дядей Пашей сын, пришёл из армии....

Алла Семёновна ужасно любила застолья: выпить и посмеяться – вот радость жизни в её понимании (здесь ключевое слово «посмеяться»). Русский, «он ведь тоже выпить не дурак», а как выпьет, подопрёт голову рукой и затянет неизменную: «Что стоишь качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь до самого тына». Алла Семёновна наших застольных песен не знала, иногда в хорошем настроении она напевала какой-то финский «тундэр-лундэр». Её коньком были не песни, а смешные (как ей казалось) и не раз повторенные жизненные истории – рассказывая их, она активно жестикулировала и первой громче всех начинала смеяться...

Не знаю, какую веру исповедовала Алла Семёновна, но, приняв активное участие в нашем с Лёлькой крещении, она стала нам крёстной матерью. Они с дядей Пашей часто бывали у нас и никогда не забывали чем-нибудь порадовать своих крестниц: кульком ли карамели «Фруктово-ягодный букет», белыми ли мятными пряниками, а иногда и ситчиком на летние платяца...

«В какие ситчики вам грезилось облечься?»...

Помню красный с мелкими белыми цветочками, из него нам сшили одинаковые сарафанчики с крылышками.

Когда Лёлька заболела желтухой, меня на две недели поселили у дяди Паши (они жили тогда в частном секторе на Верхней Колонии, в рабочем посёлке первых кузнецкстроевцев). Это были самые томительные и тоскливые дни моего детства: в первый раз я была разлучена со своим домом, со своей семьёй...

Через несколько лет дядя Паша построил дом на Островской площадке. Нам с сестрой нравилось ездить к ним в гости, главным образом потому, что надо было переправляться через Томь на пароме, но вскоре построили мост – и интерес пропал...

В их новом доме было несколько комнат, в дверных проёмах висели плюшевые бордовые портьеры, на кушетке лежали такие же плюшевые думки, на столе – плюшевая скатерть. Но комнатухи были такие маленькие, в подслеповатые окна проникало так мало света, что дом не казался уютным. Вообще у меня, наверно, предубеждение к частным домам: они наводят на меня тоску – мне больше нравятся многоквартирные высотки.

Пару раз мы с матерью оставались у них ночевать. Было страшно: абсолютная тишина, абсолютная темнота, а через дорогу – заброшенное кладбище... Иногда в длинных, запутанных снах я вижу эту дорогу и это кладбище...

У дяди Паши была дочь от первого брака – красавица Любка. На её лицо, жесты, мимику хотелось смотреть не отрываясь. Люба знала себе цену и боялась как-нибудь продешевить при выборе мужа.

Она не любила Аллу Семёновну, не хотела жить с ними – ей не терпелось поскорее выско-
чить замуж. Претендентов на её руку было двое: сосед Валентин и парторг цеха, в котором
работала Люба, Вениамин. Валентин – Вениамин... Сначала она вышла за Валентина. Сыг-
рали пышную по тем временам свадьбу – это была первая в моей жизни свадьба, и она мне не
понравилась: шумно, пьяно, бестолково...

Прожили молодые вместе совсем недолго: что-то у них там сразу не заладилось – и через
два месяца Люба уже была женой Вениамина...

Вениамин мне нравился: тонкий, умный, обаятельный человек. Когда мы встречались с
ним в одной компании, он предпочитал моё общество, хотя я была ещё девчонкой. Возвраща-
ясь из гостей, мы шли рядом, разговаривали, иногда он жаловался на Любу, на её прижими-
стость, которую называл «карманной болезнью».

Вениамин... Где-то годам к пятидесяти он спился и повесился...

Володя, сын дяди Паши и Аллы Семёновны, трагически погиб через полгода после воз-
вращения из армии...

«И все они умерли, умерли...»

Сад металлургов

«Я вышла в сад, – так написала я, – но я в него не выходила...» – повторяю вслед за
Беллой.

В Сад металлургов можно выйти из дворца, но лучше войти с парадного входа, подняв-
шись по высокой лестнице, по обеим сторонам которой замерли, склонившись над желобами,
два серебряных металлурга в широких робах и в шляпах со щитками надо лбом. У одного
в руках копьё, которым пробивают печную лётку домны; у другого – ковш на длинной руко-
ятке...

Входим в распахнутые решетчатые ворота – и вот вам фонтан! Круглый, покрашенный
белой и зелёной краской, в его центре двое работяг, обнажённых до пояса и в кепках, нале-
гают на рычаги, приводящие в движение вертушку, из которой прозрачными витыми жгутами
ниспадает вода... На бортиках сидят три толстых лягушки и лениво выдувают изо рта тонкие
струи...

Отец подсаживает нас по очереди, и мы Лёлькой ложимся животами на тёплый, нагретый
солнцем бортик фонтана. Болтая ногами в воздухе и глядя вниз на воду, в которой плавают
надкушенные зелёные ранетки, палочки от эскимо и размокшие фантики, мы чувствуем, как
сверху нас кропят «росою холодной» дядьки в кепках...

В целом сад был устроен по единому советскому стандарту: летняя эстрада, танцплощадка, площадка детских аттракционов, летний театр...

От фонтана мы бежим на детскую площадку качаться на любимых качелях с лошадиными головами, из ушей которых торчат палки – за них нужно держаться, чтобы не слететь. Эти качели были рассчитаны на то, чтобы вес седоков был примерно одинаков, – даже небольшая разница в весе позволяла проделывать разные каверзные штуки: «сажать картошку», то есть неожиданно подпрыгнуть, чтобы партнёр со всей дури шмякнулся задом; можно было организовать ему аэроплан – сделать так, чтобы он надолго завис в воздухе. Верхнее положение называлось «на аэроплане», нижнее – «у Гитлера в кармане». В общем-то, довольно травмоопасная штука эти качели – сейчас таких уже не делают...

В одно недоброе утро, после некомфортной ночёвки на скользком кожаном диване в одной из студий Дворца металлургов, я решила как-то взбодрить себя, а заодно осуществить свою давнюю мечту.

Выпросив у матери двадцать копеек, я спустилась в сад и направилась к кассе аттракционов. Не иначе как чёрт сподобил меня купить билет на «Самолёт». Забравшись по деревянной лесенке в кабину, я приготовилась ловить кайф. Но не тут-то было: самолёт, набирая обороты, увеличивал скорость – и с каждым оборотом мне становилось хуже и хуже. Сидя в открытой кабине и описывая в воздухе безумные круги, полумёртвая, с мотающейся головой, я с каждым новым кругом всё меньше надеялась остаться в живых...

После остановки адской машины, с трудом перебирая заплетающимися ногами, я побрела к выходу – и тут... буээ – меня вывернуло наизнанку. Позорище!! Мы с сестрой были патологически стеснительны....

Очень любила Сад металлургов наша бабушка. Иногда она брала с собой меня, но я шла без особой охоты, потому что знала, сядет где-нибудь в тенёчке на скамеечке – и никаких тебе качелей-каруселей...

Посидев под ракитой, бабушка брала меня за руку и вела в кинотеатр «Коммунар» или, как его называли в народе, «Звуковой» (в нём первом появилась озвучка фильмов), находился он сразу за садам. В то время я ещё не почувствовала вкуса к кино и высидеть в тёмном зрительном зале, где из-за спин сидящих впереди людей ничего не видно, для меня было пыткой...

Дусин чертог

Дуся, наша соседка по квартире, навсегда осталась для меня таинственным и загадочным существом. Собственно, было две Дуся: одна, в ватных штанах и промасленной куфайке, насквозь пропахшая железнодорожной смазкой, с одеревеневшим от мороза красным лицом, приходила с работы, быстро сдирала с себя в коридоре всё это чёрное и мазутное, запикивала спецовку в кладовку, заходила в ванную, открывала горячую воду, и через полчаса оттуда выходила другая, привычная нам Дуся – статная дама в длинном цветастом халате...

Комната Дуси... я всегда с душевным трепетом переступала её порог. Это был какой-то оазис уюта среди раздрызганного быта нашей коммуналки. Там всегда царил идеальный порядок и едва уловимый, лёгкий аромат одеколona «Красная Москва» витал в воздухе...

В центре комнаты стоял круглый стол, покрытый рытого бархата скатертью салатного цвета, длинные кисти оной нам с сестрой разрешалось заплетать и расплетать, но мы особо не злоупотребляли: всё в этой комнате внушало трепетное отношение.

Вокруг стола – венские стулья.

Слева у стены – чёрный дерматиновый диван с высокой спинкой. Диван обычный – необычным было его покрывало: оно служило мне этнографическим музеем. По тёмному фону плотной ткани были рассыпаны мелкие фигурки в конических шляпах и в азиатских одеждах (китайцы или японцы) – все они совершали какие-то действия: одни несли что-то в больших корзинах на коромыслах, другие сидели на корточках перед огнём, третьи переходили мостик... боюсь начать фантазировать, но кажется, все человечки были чем-то заняты. Подолгу стоя на коленях перед диваном, я с интересом вглядывалось в жизнь, вытканную на тёмно-синем атласе...

В углу за диваном стояло трюмо, сработанное нашим отцом. У нас в бабушкиной комнате стояло такое же, но Дусино выглядело красивее: у него между туалетным столиком и зеркалом была врезана стеклянная вставка с нарисованными лебедями, которые плавали по синему озеру, поросшему белыми лилиями. Мне было немного обидно, что отец Дусе нарисовал лебедей, а нам нет...

На подзеркальном столике красовались великолепные предметы: матового стекла флакон в виде Кремля с духами «Красная Москва», красно-золотая коробочка пудры с шёлковой кистью, пара глянцевых патрончиков губной помады, круглая баночка с кремом «Метаморфоза» (никто из взрослых не мог объяснить мне это название), пульверизатор в виде виноградной кисти, наполненный зелёным одеколоном «Шипр»...

У нас дома такая роскошь не водилась: первую губную помаду я купила маме в третьем классе на Восьмое марта, сэкономив на завтраках. А вообще с накрашенными губами я видела её три раза в жизни: первый раз, когда она попробовала накраситься моим подарком морковного цвета, второй, когда навестила её в санатории (она ужасно смутилась, оттого что у неё были малиновые губы), в третий – на фотографии... она и не пудрилась никогда, хотя пудра «Лебяжий пух» в круглой бирюзовой коробочке у нас имелась...

Снова туда, в Дусино царство. Правая сторона комнаты уже не так интересна, как левая. В углу кровать с панцирной сеткой, на ней – высокая, ровно взбитая перина, покрытая бледно-розовым пикейным покрывалом, венчали бело-розовое убранство две пуховых подушки под кисейной накидкой. Над кроватью висел
чёрно-красный персидский ковёр (неслыханная роскошь!)

Рядом с кроватью – двухстворчатый шифоньер с окошечком из цветного стекла.

Всё это великолепие заливал мягкий свет из глубокого оранжевого абажура, превращавший комнату в сказочный чертог (так мне казалось).

Дуся не носила, как моя мать, ситцевых платьишек. В шифоньере у неё висели прекрасно сшитые, дорогие платья, в одном из них, крепдешиновом, коричневом с белым горохом, она снята на общем фото: мама, отец, Дуся стоят, немного наклонившись обе к отцу; Оля (наша двоюродная семнадцатилетняя сестра), бабушка и тётя Клава сидят впереди на стульях.

Мы с Лёлькой на эту фотографию не попали, потому что не вписались в композицию, – я ревела от обиды. Ревела я часто, и в основном по одному и тому же поводу: если меня куда-нибудь не брали (в гости, в кино, на фотографию, в лес...), причём ревела только я одна – Лёлька росла терпеливым человеком...

У Дуси всегда было прибрано. Она никогда не валялась днём на кровати или на диване, как это частенько бывало с нами. Придя с ночной смены, она отсыпалась в постели, потом тщательно застилала её и уже в течение дня не посягала на стройный порядок комнаты, заведённый ею самой...

Запомнился один странный Дусин ритуал: по выходным она запиралась в своей комнате, садилась за стол и начинала читать вслух. У меня до сих пор мурашки бегут по спине, когда я вспоминаю эти чтения. Дело в том, что читала она по слогам, громким, деревянным, совершенно не похожим на свой голосом. Чтение могло продолжаться очень долго, или мне так казалось, потому что слишком тягостно было слышать из-за двери эти странные, монотонные звуки...

Когда она выходила из комнаты после чтения, я каждый раз вглядывалась в неё с опаской: не произошло ли с ней чего? Нет, ничего такого – прежняя Дуся... Понимала ли она что-нибудь из того, что читала, не знаю...

Когда вечерами вырубали электричество (случалось это довольно часто), и мы все, включая бабушку и Дусю, собирались за кухонным столом при зажжённых свечах, мама всегда читала вслух одну и ту же книгу – старую, изрисованную фиолетовыми чернилами «Родную речь» – все её тексты она знала почти наизусть (не надо было напрягать глаза). Там был «Генерал Топтыгин», который неизменно смешил мать – она его просто обожала, как и всего Некрасова, рассказы Толстого «Булька» и «Филипок», «Серая шейка» Мамина-Сибиряка. Как я любила эти посиделки на кухне в круге зыбкого света! Огонь свечи менял лица взрослых, резче оттеняя характер: на бабушкином проступал налёт скорби через взгляд, обращённый в прошлое; на Дусином – привычное терпение и вежливая внимательность; на молодом мамином лице искрились смешинки, готовые сорваться с характерным звуком «чох!»

Не помню, чем питалась Дуся, но один кулинарный эпизод с её участием запомнился.

Для начала нужно сказать, что на кухне у нас никакого газа не было и в помине, как нет его в Новокузнецке и поныне – еду готовили на плитке с открытой спиралью без всякого переключателя режима нагрева. Правду сказать, плита на кухне имелаась, но дровяная, и в ней была духовка. Печку топили, когда в квартире было слишком холодно; раз в году, весной, на День Всех Святых бабушка пекла в духовке жаворонков с изюминками вместо глаз; и лишь однажды – для Дуси, пожелавшей испечь что-то из сдобного теста...

Мы с сестрой прибежали на кухню, когда по квартире потёк ванильный дух. Остановившись перед столом как вкопанные, мы очарованно уставились на жёлтое тесто, которое Дуся месила на доске, посыпанной мукой. Отщипнув по кусочку, она дала нам попробовать. Божественный вкус!

Наша мать со сдобой не заморачивалась – печь на сковородке блины и пирожки она была мастерица, а бисквиты, кексы, пирожные – нет, никогда: в магазине можно купить...

К Дусе никогда не приходили товарки, не забегали поболтать соседки (кроме нас), не приезжала никакая родня (у нас такие наезды были постоянными: всегда кто-нибудь спал на полу в бабушкиной комнате). Изредка к Дусе приходили мужчины, но ни одного из них нам не удавалось разглядеть: они быстро проходили к ней в комнату и долго там обычно не задерживались...

В детстве всё воспринимается как должное, но, повзрослев, я часто думала над Дусиной загадкой. Кто она? Откуда? почему так сложилась её судьба?... Нет ответа.

После развода мы – мама, я и Лёлька – переехали на другую квартиру, и Дусю я больше никогда не видела.... Вот вспыхнула вдруг в памяти её фамилия – Симбирцева. Евдокия Симбирцева...

Мама, мама, мама

Дуся выглядела старше нашей матери, а маме было около тридцати (отец был старше её на семнадцать лет).

Какой я помню её, нашу маму?

Невысокая, черноволосая, с тонкой талией и пышной грудью, лёгкая, проворная, смешливая, ворчливая, вспыльчивая и отходчивая... Она выросла в деревне, недалеко от города, была младшим, пятым ребёнком в семье. Её мама умерла при родах... в семье её любили, жалели и баловали...

Когда началась война, нашей маме было шестнадцать лет и пришлось ей пойти работать на КМК: завод работал на нужды фронта, а рабочих рук не хватало.

Главным её воспоминанием об этом времени было чувство страха: она боялась опоздать на работу (ходики часто ломались, а опоздание приравнивалось к прогулу). Иногда, проснувшись среди ночи, она вскакивала – опоздала! – и неслась как угорелая на завод через страшный, слабо освещённый тоннель (жила на Верхней Колонии у старшей сестры Анисьи).

Страх и голод не отпускали её даже во сне. Часто снилась ей связка бубликов, которую отец получил за свою портновскую работу. Бублики показались ребятам тогда (до войны) невкусными – и отец повесил связку на гвоздик у окна. Ей снилось, что эта забытая связка бубликов всё ещё висит на гвоздике, и вот сейчас она подойдёт, снимет её... «Постоянно хотелось хлеба, только бы хлеба вдоволь – и больше ничего не надо!» – вспоминала мама...

Мама умела вышивать: две салфетки красноречиво свидетельствовали об этом – на одной аютины глазки, вышитые гладью, на другой роза, выполненная в сложной технике «ришелье». Кроме этих двух салфеток, других доказательств её способности к рукоделию не имелось, потому что больше всего на свете мама любила читать и этому занятию отдавала всё свободное время.

Почти все книги, которые брала в библиотеке – и детские, и взрослые – она читала нам вслух.

«Замок Броди», «Джени Герхардт», «Отверженные», книжки Чуковского, Маршака, Агнии Барто, русские народные сказки, сказки народов мира, литературные сказки – всё поглощалось нами с огромным аппетитом, не знающим насыщения.

Страшные сказки особенно врезались в память и не давали спать по ночам, как, например, сказка про живые рубины с их жутковатой песенкой:

Кровью алой нас поили,

Кровью свежей, молодой:

Мы, рубины, напитались

Алым цветом крови той.

Каким идиотом надо быть, чтобы написать для детишек такой кошмар!..

Мать читала, полулежа в кровати, мы мостились по обеим сторонам от неё, бабушка сидела на отцовской койке. Книжная жизнь захватывала нас полностью, и мы порой даже не замечали, что за окном уже стемнело...

Но не надо думать, что домашнее хозяйство было в запустении. Нет, мать с утра, пока мы спали, успевала сбежать на рынок, купить кружок молока (она никогда не покупала магазинное молоко). Прибежав с рынка и заглянув в комнату, где мы всё ещё вкушали сладкий утренний сон, она голосом, полным улыбки, говорила нараспев: «Дрыхнут без задних ног! Эй вы, сонные тетери, отворяйте брату двери!» «Конёк-горбунок» – наша любимая книжка с картинками, мы знали её почти всю наизусть...

Что такое кружок молока? Это молоко, замороженное в миске, – такие кружки колхозники в мешках привозили на рынок. Зимой на рыночных прилавках, обитых листами оцинкованного железа, лежали эти молочные круги, квашеная капуста, чёрная редька да горы коричневой, пареной в духовке калины, источавшей отнюдь не парфюмерный запах...

Мать растапливала кружок в выдавшей виды алюминиевой кастрюльке и варила молочный суп с ракушками.

Когда на обед готовилась курица (нечасто), для нас с Лёлькой появлялась захватывающая интрига: кому достанется душка – самая красивая косточка куриного скелета, на вкус мы предпочитали, конечно, булдыжки (куриные ноги).

Ежедневное мытьё полов, стирка вручную, глажка чугуном утюгом, разогретым на плитке, раз в год побелка – вот её основная работа по дому.

Мы с Лёлькой никогда не ходили сопливыми или золотушными – а таких хватало в нашем дворе...

Мама, естественно, не работала. В нашем доме почти никто из женщин не работал. И в том другом, куда мы потом переехали, тоже многие женщины не работали.... странно...

Сказать, что у нас было прибрано, – нельзя, чисто – да.

«Каждая вещь должна знать своё место», – много раз на дню повторяла мать, но у нас это правило не работало: ни одна вещь, кроме отцовых, не знала своего места. Спинка кровати была увешана нашими шмотками, стол был завален нашим барахлом: раскрасками, вырезками, карандашами; на полу валялись бумажные обрезки, фантики; на подоконнике – куклы; из углов выглядывали волчки и мячики, и, бог знает, что ещё можно было обнаружить в этих углах...

Кукол сначала было две: нам никогда не покупали одно на двоих – всегда персонально каждой. Кукол были самодельные и звали их обеих одинаково – Линка (уж не знаю, откуда взялось в моей голове это имя – просто, взглянув на них, я сразу поняла: Линки!)

Раньше в отделе игрушек продавались пластмассовые кукольные головки, мать купила две таких головки, пришила к ним туловища, нарядила их в длинные платья, чтоб не видно было ног-макаронин, – но мы в них почти не играли, а играли в матрёшек самого мелкого калибра и в целлулоидных пупсиков, называя их дитюнчиками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.